

Николай Лесков

Чертогон



Николай Семёнович Лесков

Чертогон

*Текст предоставлен правообладателем
Чертогон: 1879*

Аннотация

«...Это обряд, который можно видеть только в одной Москве, и притом не иначе как при особом счастье и протекции.

Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению обстоятельств и хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезного и величественного в национальном вкусе...»

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	6
Глава третья	11
Глава четвертая	13
Глава пятая	19

Николай Лесков

Чертогон

Глава первая

Это обряд, который можно видеть только в одной Москве, и притом не иначе как при особом счастье и протекции.

Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению обстоятельств и хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезного и величественного в национальном вкусе.

Хотя я с одного бока дворянин, но с другого близок к «народу»: мать моя из купеческого звания. Она вышла замуж из очень богатого дома, но вышла уходом, по любви к моему родителю. Покойник был молодец по женской части и что намечал, того и достигал. Так ему удалось и с мамашей, но только за эту ловкость матушкины старики ничего ей не дали, кроме, разумеется, гардеробу, постелей и Божьего милосердия, которые были получены вместе с прощением и родительским благословением, навеки нерушимым. Жили мои старики в Орле, жили нужно, но гордо, у богатых материных родных ничего не просили, да и сношений

с ними не имели. Однако, когда мне пришлось ехать в университет, матушка стала говорить:

– Пожалуйста, сходи к дяде Илье Федосеевичу и от меня ему поклонись. Это не унижение, а старших родных уважать должно, – а он мой брат, и к тому благочестив и большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах всегда хлеб-соль подает... всегда впереди прочих стоит с блюдом или с образом... и у генерал-губернатора с митрополитом принят... Он тебя может хорошему наставить.

А я хотя в то время, изучив Филаретов катехизис, в Бога не верил, но матушку любил, и думаю себе раз: «Вот я уже около года в Москве и до сих пор материнской воли не исполнил; пойду-ка я немедленно к дяде Илье Федосеевичу, повидаюсь – снесу ему материн поклон и взаправду погляжу, чему он меня научит».

По привычке детства я был к старшим почтителен – особенно к таким, которые известны и митрополиту, и губернаторам.

Восстав, почистился щеточкой и пошел к дяде Илье Федосеевичу.

Глава вторая

Было так часов около шести вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сероватая – словом, очень хорошо. Дом дяди известен, – один из первых домов в Москве, – все его знают. Только я никогда в нем не был и дядю никогда не видал, даже издали.

Иду, однако, смело, рассуждая: примет – хорошо, а не примет – не надо.

Прихожу на двор; у подъезда стоят кони-львы, сами вороные, а гривы рассыпные, шерсть, как дорогой атлас, лоснится, а заложены в коляску.

Я взошел на крыльцо и говорю: так и так – я племянник, студент, прошу доложить Илье Федосеичу. А люди отвечают:

– Они сами сейчас сходят – едут кататься.

Показывается очень простая фигура, русская, но довольно величественная, – в глазах с матушкой есть сходство, но выражение иное, что называется – солидный мужчина.

Отрекомендовался ему; он выслушал молча, тихо руку подал и говорит:

– Садись, поедемся.

Я было хотел отказаться, но как-то замялся и сел.

– В парк! – велел он.

Львы сразу приняли и понеслись, только задок коляски подпрыгивает, а как за город выехали, еще шибче помчали.

Сидим, ни слова не говорим, только вижу, как дядя себе цилиндр краем в самый лоб врезал, и на лице у него этакая что называется плюмса, как бывает от скуки.

Туда-сюда глядит и один раз на меня метнул глазом и ни с того ни с сего проговорил:

– Совсем жисти нет.

Я не знал, что отвечать, и промолчал.

Опять едем, едем; думаю: куда это он меня завозит? и начинает мне сдаваться, что я как будто попал в какую-то статью.

А дядя вдруг словно повершил что-то в уме и начинает отдавать кучеру одно за другим приказания:

– Направо, налево. У «Яра» – стой!

Вижу, из ресторана много прислуги высыпало к нам, и все перед дядею чуть не в три погибели гнутся, а он из коляски не шевелится и велел позвать хозяина. Побежали. Является француз – тоже с большим почтением, а дядя не шевелится: костью набалдашника палки о зубы постукивает и говорит:

– Сколько лишних людей есть?

– Человек до тридцати в гостиных, – отвечает француз, – да три кабинета заняты.

– Всех вон!

– Очень хорошо.

– Теперь семь часов, – говорит, посмотрев на часы, дядя, – я в восемь заеду. Будет готово?

– Нет, – отвечает, – в восемь трудно... у многих заказано... а к девяти часам пожалуйста, во всем ресторане ни одного стороннего человека не будет.

– Хорошо.

– А что приготовить?

– Разумеется, эфиопов.

– А еще?

– Оркестр.

– Один?

– Нет, два лучше.

– За Рябыкой послать?

– Разумеется.

– Французских дам?

– Не надо их!

– Погреб?

– Вполне.

– По кухне?

– Карту!

Подали дневное меню.¹

Дядя посмотрел и, кажется, ничего не разобрал, а может быть, и не хотел разбирать: пощелкал по бу-

¹ Меню – Франц.

мажке палкою и говорит:

– Вот это все на сто особ.

И с этим свернул карточку и положил в кафтан.

Француз и рад, и жметяся:

– Я, – говорит, – не могу все подать на сто особ.

Здесь есть вещи очень дорогие, которых во всем ресторане всего только на пять-шесть порций.

– А я как же могу моих гостей рассортировывать?

Кто что захочет, всякому чтоб было. Понимаешь?

– Понимаю.

– А то, брат, тогда и Рябыка не подействует. Пошел!

Оставили рестораника с его лакеями у подъезда и покатили.

Тут я уже совершенно убедился, что попал не на свои рельсы, и попробовал было попроститься, но дядя не слышал. Он был очень озабочен. Едем и только то одного, то другого останавливаем.

– В девять часов к «Яру»! – говорит коротко каждому дядя. А люди, которым он это сказывает, все почтенные такие, старцы, и все снимают шляпы и так же коротко отвечают дяде:

– Твои гости, твои гости, Федосеич.

Таким порядком, не помню, сколько мы остановили, но я думаю, человек двадцать, и как раз пришло девять часов, и мы опять подкатили к «Яру». Слуг целая толпа высыпала навстречу и берут дядю под ру-

ки, а сам француз на крыльце салфеткою пыль у него с панталон обил.

– Чисто? – спрашивает дядя.

– Один генерал, – говорит, – запоздал, очень просился в кабинете кончить...

– Сейчас вон его!

– Он очень скоро кончит.

– Не хочу, – довольно я ему дал времени – теперь пусть идет на траву доедать.

Не знаю, чем бы это кончилось, но в эту минуту генерал с двумя дамами вышел, сел в коляску и уехал, а к подъезду один за другим разом начали прибывать гости, приглашенные дядею в парке.

Глава третья

Ресторан был убран, чист и свободен от посетителей. Только в одной зале сидел один великан, который встретил дядю молча и, ни слова ему не говоря, взял у него из рук палку и куда-то ее спрятал.

Дядя отдал палку, нимало не противореча, и тут же передал великану бумажник и портмоне.

Этот полуседой массивный великан был тот самый Рябыка, о котором при мне дано было ресторатору непонятное приказание. Он был какой-то «детский учитель», но и тут он тоже, очевидно, находился при какой-то особой должности. Он был здесь столь же необходим, как цыгане, оркестр и весь туалет, мгновенно явившийся в полном сборе. Я только не понимал, в чем роль учителя, но это было еще рано для моей неопытности.

Ярко освещенный ресторан работал: музыка гремела, а цыгане расхаживали и закусывали у буфета, дядя обзирал комнаты, сад, грот и галереи. Он везде смотрел, «нет ли непринадлежащих», и рядом с ним безотлучно ходил учитель; но когда они возвратились в главную гостиную, где все были в сборе, между ними замечалась большая разница: поход на них действовал не одинаково: учитель был трезв, как вы-

шел, а дядя совершенно пьян.

Как это могло столь скоро произойти, – не знаю, но он был в отличном настроении; сел на председательское место, и пошла писать столица.

Двери были заперты, и о всем мире сказано так: «что ни от них к нам, ни от нас к ним перейти нельзя». Нас разлучала пропасть, – пропасть всего – вина, яств, а главное – пропасть разгула, не хочу сказать безобразного, – но дикого, неистового, такого, что и передать не умею. И от меня этого не надо и требовать, потому что, видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел и сам поспешил скорее напиться. А потому я не буду излагать, как шла эта ночь, потому что все это описать дано не моему перу, я помню только два выдающиеся батальные эпизода и финал, но в них-то и заключалось главным образом *страшное*.

Глава четвертая

Доложили о каком-то Иване Степановиче, как впоследствии оказалось – важнейшем московском фабриканте и коммерсанте.

Это произвело паузу.

– Ведь сказано: никого не пускать, – отвечал дядя.

– Очень просят.

– А где он прежде был, пусть туда и убирается. Человек пошел, но робко идет назад.

– Иван Степанович, – говорит, – приказали сказать, что они очень покорно просят.

– Не надо, я не хочу.

Другие говорят: «Пусть штраф заплатит».

– Нет! гнать прочь, и штрафу не надо.

Но человек является и еще робче заявляет:

– Они, – говорит, – всякий штраф согласны, – только в их годы от своей компании отстать, говорят, им очень грустно.

Дядя встал и сверкнул глазами, но в это же время между ним и лакеем встал во весь рост Рябыка: левой рукой, как-то одним щипком, как цыпленка, он отшвырнул слугу, а правую посадил на место дядю.

Из среды гостей слышались голоса за Ивана Степановича: просили пустить его – взять сто рублей

штрафу на музыкантов и пустить.

– Свой брат, старик, благочестивый, куда ему теперь деваться? Отобьется, пожалуй, еще скандал сделает на виду у мелкой публики. Пожалеть его надо.

Дядя внял и говорит:

– Если быть не по-моему, так и не по-вашему, а по-Божью: Ивану Степанову впуск разрешаю, но только он должен бить на литавре.

Пошел пересказчик и возвращается:

– Просят, говорят, лучше с них штраф взять.

– К черту! не хочет барабанить – не надо, пусть его куда хочет едет.

Через малое время Иван Степанович не выдержал и присылает сказать, что *согласен* в литавры бить.

– Пусть придет.

Входит муж нарочито велик и видом почтенен: обликом строг, очи угасли, хребет согбен, а брада комо-вата и празелень. Хочет шутить и здороваться, но его остепеняют.

– После, после, это все после, – кричит ему дядя, – теперь бей в барабан.

– Бей в барабан! – подхватывают другие.

– Музыка! подлитаврную.

Оркестр начинает громкую пьесу, – солидный старец берет деревянные колотилки и начинает в такт и не в такт стучать по литаврам.

Шум и крик адский; все довольны и кричат:

– Громче!

Иван Степанович старается сильнее.

– Громче, громче, еще громче!

Старец колотит во всю мочь, как Черный царь у Фрейлиграта, и, наконец, цель достигнута: литавра издает отчаянный треск, кожа лопается, все хохочут, шум становится невообразимый, и Ивана Степановича облегчают за прорванные литавры штрафом в пятьсот рублей в пользу музыкантов.

Он платит,тирает пот, усаживается, и в то время, как все пьют его здоровье, он, к немалому своему ужасу, замечает между гостями своего зятя.

Опять хохот, опять шум, и так до потери моего сознания. В редкие просветы памяти вижу, как пляшут цыганки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте, дядя; потом как он перед кем-то встает, но тут же между ними появляется Рябыка, и кто-то отлетел, и дядя садится, а перед ним в столе торчат две воткнутые вилки. Я теперь понимаю роль Рябыки.

Но вот в окно дохнула свежесть московского утра, я снова что-то сознал, но как будто только для того, чтобы усумниться в рассудке. Было сражение и рубка лесов: слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные, экзотические деревья, за ними кучею жались в углу какие-то смуглые лица, а здесь, у кор-

ней, сверкали страшные топоры и рубил мой дядя, рубил старец Иван Степанович... Просто средневековая картина.

Это «брали в плен» спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок, цыгане их не защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать: в воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те всё врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степаныч и дядя.

Наконец твердыня была взята: цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каждый – каждой сунул по сто рублевой за «корсаж», и дело кончено...

Да; сразу вдруг все стихло... все кончено. Никто не помешал, но этого было довольно. Чувствовалось, что как без этого «жисти не было», так зато теперь довольно.

Всем было довольно, и все были довольны. Может быть, имело значение и то, что учитель сказал, что ему «пора в классы», но, впрочем, все равно: вальпургиева ночь прошла и «жисть» опять начиналась.

Публика не разъезжалась, не прощалась, а просто исчезла; ни оркестра, ни цыган уже не было. Ресторан представлял полнейшее разорение: ни одной драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра – и та лежала на полу вся в кусках, и хрустальные призмы ее ломались под ногами еле бро-

дившей, утомленной прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас; он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка.

Им подали счет – короткий: «гуртом писанный».

Рябыка читал счет внимательно и потребовал полторы тысячи скидки. С ним мало спорили и подвели итог: он составлял семнадцать тысяч, и просматривавший его Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес односложно: «плати» и затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать.

Я, к ужасу моему, видел, что он ничего не забыл и что мне невозможно от него скрыться. Он мне был чрезвычайно страшен, и я не мог себе представить, как я останусь в этом его ударе с глазу на глаз. Прихватил он меня с собою, даже двух слов резонных не сказал, и вот таскает, и нельзя от него отстать. Что со мною будет? У меня весь и хмель пропал. Я просто только боялся этого страшного, дикого зверя, с его невероятною фантазиєю и ужасным размахом. А между тем мы уже уходили: в передней нас окружила масса лакеев. Дядя диктовал: «по пяти» – и Рябыка расплачивался; ниже платили дворникам, сторожам, городовым, жандармам, которые все оказывали нам какие-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы, а тут еще на всем видимом

пространстве парка стояли извозчики. Их было видимо-невидимо, и все они тоже ждали нас – ждали ба-
тюшку Илью Федосеича, «не понадобится ли зачем
послать его милости».

Узнали, сколько их, и выдали всем по три рубля, и
мы с дядей сели в коляску, а Рябыка подал ему бу-
мажник.

Илья Федосеич вынул из бумажника сто рублей и
подал Рябыке.

Тот повернул билет в руках и грубо сказал:

– Мало.

Дядя накинул еще две четвертки.

– Да и это недостаточно: ведь ни одного скандала
не было.

Дядя прибавил третью четвертную, после чего учи-
тель подал ему палку и откланялся.

Глава пятая

Мы остались вдвоем с глазу на глаз и мчались назад в Москву, а за нами с гиком и дребезжанием неслась во всю скачь вся эта извозчичья рвань. Я не понимал, что им хотелось, но дядя понял. Это было возмутительно: им хотелось еще сорвать отступного, и вот они, под видом оказания особой чести Илье Федосеичу, предавали его почетное высокостепенство всесветному позору.

Москва была перед носом и вся в виду – вся в прекрасном утреннем освещении, в легком дымке очагов и мирном благовесте, зовущем к молитве.

Вправо и влево к заставе шли лабазы. Дядя встал у крайнего из них, подошел к стоявшей у порога липовой кадке и спросил:

– Мед?

– Мед.

– Что стуйт кадка?

– На мелочь по фунтам продаем.

– Продай на крупное: смекни, что стуйт.

Не помню, кажется семьдесят или восемьдесят рублей он смекнул.

Дядя выбросил деньги.

А кортеж наш надвинулся.

– Любите меня, молодцы, городские извозчики?

– Как же, мы завсегда к вашему степенству...

– Привязанность чувствуете?

– Очень привязаны.

– Снимай колеса.

Те недоумевают.

– Скорей, скорей! – командует дядя.

Кто попрытче, человек двадцать, слазили под козла, достали ключи и стали разворачивать гайки.

– Хорошо, – говорит дядя, – теперь мажь медом.

– Батюшка!

– Мажь!

– Этакое добро... в рот любопытнее.

– Мажь!

И, не настаивая более, дядя снова сел в коляску, и мы понеслись, а те, сколько их было, все остались с снятыми колесами над медом, которым они колес верно не мазали, а растащили по карманам или перепродали лабазнику. Во всяком случае они нас оставили, и мы очутились в банях. Тут я себе ожидал кончину века, и ни жив ни мертв сидел в мраморной ванне, а дядя растянулся на пол, но не просто, не в обыкновенной позе, а как-то апокалипсически. Вся огромная масса его тучного тела упиралась об пол только самыми кончиками ножных и ручных пальцев, и на этих тонких точках опоры красное тело его трепетало под

брызгами пущенного на него холодного дождя, и ревел он сдержанным ревом медведя, вырывающего у себя больничку. Это продолжалось с полчаса, и он все одинаково весь трепетал, как желе, на тряском столе, пока, наконец, сразу вспрыгнул, спросил квасу, и мы оделись и поехали на Кузнецкий «к французу».

Здесь нас обоих слегка подстригли и слегка завили, и причесали, и мы пешком перешли в город – в лавку.

Со мной все нет ни разговора, ни отпуска. Только раз сказал:

– Погоди, не все вдруг; чего не понимаешь, – с лет-бм поймешь.

В лавке он помолился, взглянув на всех хозяйским оком, и стал у конторки. Внешность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищения.

Я это видел и теперь перестал бояться. Это меня занимало – я хотел видеть, как он с собою разделается: воздержанием или какой благодатию?

Часов в десять он стал больно нудиться, все ждал и высматривал соседа, чтобы идти втроем чай пить, – троим собирают на целый пятак дешевле. Сосед не вышел: помер скорописною смертью.

Дядя перекрестился и сказал:

– Все порем.

Это его не смутило, несмотря на то, что они сорок

лет вместе ходили в Новотроицкий чай пить.

Мы позвали соседа с другой стороны и не раз сходили, того-сего отведали, но все нбтрезво. Весь день я просидел и проходил с ним, а перед вечером дядя послал взять коляску ко Всепетой.

Там его тоже знали и встретили с таким же почетом, как у «Яра».

– Хочу пасть перед Всепетой и о грехах поплакать. А это, рекомендую, мой племяш, сестры сын.

– Пожалуйте, – говорят инокини, – пожалуйста, от кого же Всепетой, как не от вас, и покаянье принять, – всегда ее обители благодели. Теперь к ней самое расположение... всенощная.

– Пусть кончится, – я люблю без людей, и чтоб мне благодатный сумрак сделать.

Ему сделали сумрак; погасили все, кроме одной или двух лампад и большой глубокой лампы с зеленым стаканом перед самою Всепетою.

Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом об пол ниц, всхлипнул и точно замер.

Я и две инокини сели в темном углу за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежал, не подавая ни гласа, ни послушания. Мне казалось, что он будто уснул, и я даже сообщил об этом монахиням. Опытная сестра подумала, покачала головою и, возжегши тоненькую свечечку, зажала ее в горсть и тихо-тихонько направи-

лась к кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочках, она возмутилась и шепнула:

– Действует... и с оборотом.

– Почему вы замечаете?

Она пригнулась, дав знак и мне сделать то же, и сказала:

– Смотри прямо через огонек, где его ножки.

– Вижу.

– Смотрите, какое борение!

Всматриваюсь и действительно замечаю какое-то движение: дядя благоговейно лежит в молитвенном положении, а в ногах у него словно два кота дерутся – то один, то другой друг друга борют, и так частенько, так и прыгают.

– Матушка, – говорю, – откуда же эти коты?

– Это, – отвечает, – вам только показываются коты, а это не коты, а искушение: видите, он духом к небу горит, а ножками-то еще к аду перебирает.

Вижу, что и действительно это дядя ножками вчерашнего трепака доплясывает, но точно ли он и духом теперь к небу горит?

А он, словно в ответ на это, вдруг как вздохнет да как крикнет:

– Не поднимусь, пока не простишь меня! Ты бо один свят, а мы все черти окаянные! – и зарыдал.

Да ведь-таки так зарыдал, что все мы трое с ним

навзрыд плакать начали: Господи, сотвори ему по его молению.

И не заметили, как он уже стоит рядом с нами и тихим, благочестивым голосом говорит мне:

– Пойдем – справимся.

Монахини спрашивают:

– Сподобились ли, батюшка, отблеск видеть?

– Нет, – отвечает, – отблеска не сподобился, а вот...

этак вот было.

Он сжал кулак и поднял, как поднимают за вихор мальчишек.

– Подняло?

– Да.

Монахини стали креститься, и я тоже, а дядя пояснил:

– Теперь мне, – говорит, – прощено! Прямо с самого сверху, из-под кумпола, разверстой десницей сжало мне все власы вкупе и прямо на ноги поставило...

И вот он не отвержен и счастлив; он щедро одарил обитель, где вымолил себе это чудо, и опять почувствовал «жисть», и послал моей матери всю ее приданую долю, а меня ввел в добрую веру народную.

С этих пор я вкус народный познал в падении и в восстании... Это вот и называется *чертогон*, «иже бе-са чужеумия испраздняет». Только сподобиться этого, повторяю, можно в одной Москве, и то при особом

счастью или при большой протекции от самых степенных старцев.

1879 г.